

На сеновале

Татьяна Грибанова

Белым наливом скатывается за Васютиным амбаром в седые лопухи перспелая луна. А где-то там, над ольховниками Коровьего болота, ей на смену уже вызревает, вот-вот раскроется – только не проморгай! – огненный бутон чудодивного золотистого цветка. Вёдро. Не тянет ни дождем, ни сыростью.

В парном июльском ветерке ситцевая в голубенький огурчик занавеска чуть колыхнется. Ушлый комаришка все-таки сыскал лазейку, проскользнул к Митьке под полог, обустроенный мамкой еще под Троицын день, и вот теперь, спозаранку, когда проявляются самые невероятные видения, самые желанные сны, этот неотвязный паршивец наипагубнейшим образом докучает и докучает парнишке гнусавым зудением, «ну, прям-таки утерпелу от кропивца нету».

С бакши слышится равномерный хруст. Это дедушка, подобув на бурки галоши, бродит по росным грядкам, хрюкает, набивает для подсыпки Ерочки ботинки плетущую молодого, переполненного соком, ослиозлого свекольника. Запах нечаянно растоптанного огуречника, смешанного с ядреным укропным духом, прокрадывается сквозь щелки сеновала, вползает в Митюшкины полусыпавшиеся сны.

– Поспишь тут, как же! – пыжится мальчишка, накрывает голову подушкой, пытаясь зацепиться хоть за краешек ускользающей ночи. Но опять незадача – изодранные вчера в бакши Зининых крыжовниках руки так чешутся, так чешутся – мочи нет. С вечера завернули с дружкой Тимкой спарившись, не подошла ли на углу ее захоластного сада «дулька». Мальчишки сквозь этот сад, как сквозь свойский, закурываясь пролудут. Груша пока еще каляна-а-я! А крыжовник – ничего, в самый раз, только потемну уж доже лих. И цыпки на пятках, будь они неладны, чешутся заодно с цапапинами на пальцах. Хоть мажь их бабуля гусяним жиром, хоть не мажь – Бог даст, может, хоть к Покрову отпадут.

– Хррр! Хррр! Хррр! – скрипит сарайная воротица.

– Вот так каждое утро!

И какого рожна ей не спится? Сколько раз обещал себе накапать в петлю машинного масла, да где тут! Опять забыл! Теперь вот слушай ее песни на свою шею, – ерошит себе волосы, бубнит невыспавшийся Митька.

– Ммм! – Плафира обмахивается хвостом, не дается дойти.

– Ай ты нынче белены объелась? – доносятся до Митьки мамкины строгие-настрогие укоры, а потом ласковые-преласковые причитания.

– Опять подоиник наподдала, – жалобится она подошедшему Лукичу, своему мужу, Митькиному отчиму. – Витинару, что ли, показать, может, с вымям что приключилось, вишь как бьется?

Тянет Лукичевым «беломором», слышно, как он, покашливая, спрашивается под сарайку скотавливаться на сенокос.

Вообще-то мужик он ничего. И рыбалить Митьку научил, и велик с получки обещался.

– Как папка сгиб в Чечне, мамка совсем было разумом помутилась, – припомнилось Митьке. – Кто знает, как бы сложилось дальше, если б не этот вдовый Лукич. Мамка в нем прям-таки души не чае... Да и меня он не забывает... Небось, сживемся!

– Вжик-повжик! Вжик-повжик!

– Ишь дедкины пчелы расчапали под Кулигой – греча зацвела, и ну с нее, уже с неделю как, мимо сеновала таскать к себе в улюшкин вязток. К Сергую дню, глядишь, дедуня и медогонку из чулана выкатит.

Пчелы все жукают и жукают. С полудрему Мите уж и не разобрать: то ли они, заботные, взад-вперед носятся, то ли мурчит бабулина маслянка.

– Динь-динь-тирли-динь! – бойко залескалось из-под сарая – Лукич правит косы.

Ну, теперь уж точно рассыпался Мить-

кин сон. Босый, на плече мягкой тряпичей клетчатая рубашка, он шнырко спускается с сеновала по шаткой лестнице на почти подсохшие подорожники двора. Чтобы окончательно очухаться от душной июльской ночи, из притулившейся у крыльца дождевой бочки Митя брызгает на ходу пару пригоршень утренней прохлады на лицо, на голую грудь. И, взбодрясь, влетает в кухню.

Вернувшаяся из курятника бабуля – в подоле фартука с пяток яиц – жалобится ему на рябю курицу: мол, все никак не угнездится «нескладеха», в который раз подкладень раздавила. Отсервав, старушка ставит перед внуком приберегавшую в сутреге на загнетке тарелку с еще дымящимися блинами, пододвигает мяску со сметаной и снова прижимом к печке. Митя – один румяненный блиамс в сметану и скорее в рот. Остальные, с десятком, закатывает в трубочку, сует тепленькие за пазуху. Бабуля еще настраивает – в плошке эвон сколько теста!

Э-эх, кабы шапка-невидимка, проскользнул бы мимо бабули тихо-нечко!

Парнишка чмокает старушку на бегу, пока та не одумалась, и исчезает за дверью, прежде чем услышать надоедливый («для хороших мальчиков») «молебен».

– Обедать-то, юла, отышлись, пирог твой любимый с карасями затеяла, а то избегалась, все всухомятку, кой на чем. Ишь ты, ужаленный! – выглядывает из растворенного окна бабусяно смутное с белесыми лучиками у краешка глазлицо. Добрейшая старушка грозит внучонку блестящим от масла пальцем.

– Гоп-ля! – прихватив футбольный мячик, Митя спроваживает с горы к Филькину плесу гомонливый табун уже подросток, оперившихся гусей. Верховодит



ими здоровенный серый вожак, шишконосый Пугач, задира и буян, каких свет не видывал. Все норвит, эдакий расканалья, супротив Мити зартачиться.

Неслухи, оставив на полугоре своего хозяина, расперивают крылья, мягко планируют над поросшей агисами степкой, над куртинами фиолетовых шалфеев и золотистых болиголов, будоража шелковистую водную гладь, плавн оседают на желтый сыпучий песок плеса, на противоположный, левый, низменный берег.

Сверкнув белыми, один к одному, зубами, мальчишка улыбается бойкими, приветливыми глазами, футболит в подгорье мяч. И, как запроважская птица, расставив в стороны руки-крылья, срывается следом, летит за своими подопечными.

Золотистое – аж глазам жарко! – солнышко, словно смазанная яичным желтком поджаристая бабулина лепешка, катится вдолгону за Митей.

Впереді большущий летний день.

Хорошо-о!

Льняной, ласковый до истомы вечер. Самая пора закруглиться бы с дневными хлопотами. Все равно на крестьянском подворье их беско-

нечная вереница. Но сидеть за просто так, о том о сем, ни о чем калякая на лавочке у ворот – дело для меня великотрудное, скажем, даже непосильное. И потому отправляюсь в чулан, прихватив пару ведер, низизываю их на коромысло, обу-страиваю на плече.

Родник у нас под Мишкиной горой, в самой низине. Спуститься к нему можно пологой, выбранной в земле и обнесенной дубовыми кругляшами лестницей. Сладил ее пару лет назад дядька Николай, муж моей тетки Нинилы. По крутойру ему, а тем более тетке, с полными ведерками не подняться, вот он и искитрился, обустроил пологий спуск.

Можно, конечно, сбежать на ключ и по этой, обросшей диким сливняком стезжке, но лично я не испытываю, проходя в стеной стоящих зарослях, ни малейшего удовольствия.

Другое дело – выйти на гору, на самое крутолобье. Вниз и смотреть страшно, зато какая красотища открывается – дух захватывает. Хоть в какую сторону взгляни – на дальние предальние версты все, как на ладони, видать. И пока еще имеется порок в пороховнице, ни за какие коврижки не променять мне этот обрыви-

стый спуск, где и вправду можно голову свернуть, на степенную «пенсионную» лесенку.

Не было еще и дня, чтобы я, отправляясь на ключ, не задержалась бы на этом верхотурье, не присела бы, сбросив в анисы коромысло и ведерки, хоть на пару минут.

Сердце замирает – какая ширь! И в предвечерних дальх уже мигают мигают, словно рожь светлячки, огоньки окрестных деревень. Вон через Облогу, на левом берегу Кромы, у песчаного, покрытого мелкой галькой приплеска – Гавриловка. А там, западнее и чуть подальше – Выдумка. Обернешься – через речку от крохотного поселка Степь всего несколькими огоньками подмаргивает Старо-Гнездилово.

Отсюда, с горы, кажутся роднее и куда ближе – рукой подать! – умытые лазурью небеса. Простор земной, простор небесный, и я... Сижу тут на крутойре, обхватив колени руками, обо всем на свете позабыла. Слушаю, как внизу пожуркивает, омывая валунки да камушки, парной, в песочных рыжниках, Желтый; как суетается, обустриваясь на ночлег в своих глинистых норках, ласточки-береговушки.

Отрадно!.. В низинном краю, где-то у Чичиной хаты, то нежно мурлычет, то балагурит баян. Наверное, Мишка в клуб наострился. И когда его только кака-нибудь дваха окрутит? А вечер ниже, а синева гуще. Пора и на ключ, а то и впрямь потему назад не взберусь.

Обратно – это тебе не вниз налеге да котушное. Но в ведерках – не в тягость – в одном себребрится молодик, а из другого, наполненного всклен, выплескивается звездная россыпь.

И глаза, знаю себя, светятся нежностью, и на душе светлеет светло-го: «Боженька щедрый! Спасио Тебе за этот вечер, за эту поднебесную гору, за радость видеть и ощущать Твой непередаваемо чудный мир!»

Ушла и забыла попрощаться с Мишкиной горой. Не простилась, у нас говорят значит, обязательно вернусь, встретимся!